ГОРОХ НА ПЕТРОВОМ ПЕРЕГОНЕ

АЛЕКСАНДР ОМЕЛИН
Родился в городе Кулебаки Нижегородской области, окончил радиофизический факультет ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Работает в сфере телекоммуникационных технологий. Учился в школе писательского и сценарного мастерства BAND. Публиковался в журнале «Молоко».

Петр Гаврилыч два дня пил крепкий чай, таскал ведрами навоз и курил. А в третий день сел на рельсы и слушал, как за разъездом сначала лязгнуло, потом дернуло ржавую тишину над путями и загремело. И Петр Гаврилыч пошел к машинисту дрезины.

– Сердце вскипятишь. – Машинист посмотрел в глаза старика. – Зачем тебе?

Петр Гаврилыч выпрямился:

– Я сорок три года движенец, и перегон – мой.

Он поставил на раму дрезины литровую банку заячьей тушенки, щелкнул по ней ногтем.

– Спасибо, отец, я же не об этом. – Машинист взял банку. – Если нужно тебе, смотри, мы завтра до города пройдем, там обедаем, грузимся и обратно. На заводской прыгай часа в три, лады?

Петр Гаврилыч кивнул, машинист уставился себе под ноги:

– А после нас, ну, уже гвоздодерить начнут…

Вечером монтеры закончили сгребать весь путейный хлам, и дрезина ушла по мертвой ветке в депо. Над разъездом веяло сентябрьской свежестью, трогало блеклые травы. Петр Гаврилыч обнял жену за плечи, сложив заскорузлые ладони как платок:

– Ты свой белый, в горох, помнишь?

Люба улыбнулась:

– Куда я его сейчас, отстань уж… Будешь там – возьми в аптеке каптоприлу, две пачки с полоской, и пустырнику, для ног.

Утром старик поехал в город.

Пазик трясло, сбоку мелькали серые столбы и кресты в искусственных цветах, дорога вихляла, прыгала вверх-вниз, расхлябанная и скользкая – не его дорога. У него на всю жизнь – перегон, двенадцать километров стальной нитки – и тяжело, и звонко, и прямо. А эта, черной полосой по земле и не вздохнуть, – не его. Может быть, сыновья. Это Юрка потерялся на таких дорогах, уехал дальней весной, когда асфальт совсем поганый, бензиновые лужи и в сугробах видно трупы бродячих собак, убитых машинами. И ни звонка от него, от Юрки.

Петр Гаврилович вышел на автостанции, купил в аптеке лекарство и в маленьком магазине – чекушку. Ехать со всей бригадой – неудобно порожним. Город был – балаган с размазней, идти к знакомым старик не хотел, на базар – без нужды. На лавочке у заводской платформы просидел час с лишним, курил, глядел, как желтые березы на крыше недостроенного цеха роняют листья в кирпичные дыры.

Дрезина подошла к сроку, дала короткий хулиганистый гудок, и машинист крикнул из кабины:

– Прыгай, движенец!

Усатый монтер помог забраться. Под краном на дрезине лежали шпалы, стянутые тросами, на

шпалах сидели боком пятеро путейцев в жилетах. Несло креозотом и дизелюхой, по-родному. Петр Гаврилыч достал чекушку и оттопырил палец на бригаду.

– А что так мало? – засмеялся машинист. – Добро.

Выпили с горла, но поровну каждый. Старика спросили:

– Куда едешь?

– Петров перегон же? – Он показал рукой на рельсы. – Ну, я Петр.

Только машинист и усатый помнили что-то такое.

Пути бежали окраиной – парк, переезд, склады, объездная – и точеной линией стремились прочь. Когда снимут рельсы, в городском асфальте станет пусто в колее, и машины будут завсегда тормозить там, биться резиновыми колесами. Такая будет отметка.

После складов вдоль насыпи потянулись затопленные карьеры, ивняк и камыши. Гордые утки, забывшие шум на линии, поднимались с воды стаями и перелетали на глухие места. Дрезина шла медленно, вполовину медленнее поезда, и привычное для слуха «чух-чух» разбивалось на отдельные удары с промежутком, как будто высекали молотком или клацали затвором.

– Сейчас Первомайка будет! – Усатый толкнул плечом Петра Гаврилыча.

– Есть такое дело, – сказал старик.

Придерживаясь рукой о сложенные шпалы и плечи путейцев, он прошел к кабине машиниста, взялся за поручень.

– Посмотреть надо.

Дрезина отмеряла путь, чух – ударялись колеса, чух – клацал затвор.

Никогда с тех самых пор, как Петр Гаврилыч увез с Первомайки свою Любу, никогда он больше не проезжал этого пункта стоя. Тогда на Первомайке только обживались, делали лесхоз, еще что-то по этой части, и в первомайских, всех поголовно приезжих, еще не зародилась, не выстоялась деревенская злоба к чужим. Поэтому Петр гулял с Любой спокойно, катал ее к себе на разъезд. Случалось, он не предупреждал машиниста, они опаздывали на вечернюю заводскую «кукушку» и шли полперегона пешком, шли над туманом, по насыпи, как по облакам. В молоке только верхушки сосен и впереди – рельсы, шпалы.

– Как лестница для нас, – шептала тихая Люба.

– А мне бы горох, – говорил Петр и клал руки ей на белый платок с красными пятаками.

Цеплялся к ним только толстый Коля Корыто, но не шибко, а с какой-то ребячьей дурью. И лишь в тот день, когда Петр приехал свататься, когда ехал он в костюме, стоя у кабины заводского поезда, Коля встретил поезд на платформе и вскинул на Петра ружье-фроловку. Выстрелил холостым – салют жениху!

Петр осел с испуга, вымазал костюм в масляной грязи, прямо на людях. Корыто мутузили тогда свои же, посватался Петр как следует, и все потом шло нормально, но Петр никогда больше не проезжал Первомайку стоя. Всегда сидел у машиниста, степенно и серьезно – начальник разъезда пятого класса.

Здорово, твою за душу, остановочный пункт Первомайский!

Поселок молча лупоглазил окнами на последнюю дрезину, домишки топырили в небо лопухи антенн и ежились от обреченных рельс. Мусорка под откосом – целлофановый ворох с бутылками, покрышки, бетонная плита сползла с насыпи, утащила с собой фонарь и пеньки ограждения. Само ограждение давно сковырнули в приемку. Машинист посмотрел на Петра Гаврилыча и не стал пускать гудок.

– Сядь давай, отец. Тэ-бэ.

Старик вернулся к монтерам, сел с торца шпал, так, чтобы видеть пройденную колею, всю ее прямоту и больную, мечтательную тягу вдаль.

Чух – колеса, чух – молотком.

После Первомайки линия уходила в чащобу, по сторонам вперемешку – сосны, осинник, бурьяны – все в разноцветье, но от тихого хода не мельтешит. Красиво. Дикая рябина роняет на пути красные ягоды, как Любин платок, как раскидывала им на дорожку горстями бабка-мордовка, говорила: «Пусть густо будет». Насыпь пропадала в мелколесье, местами во мху не видно шпал, пресеклась тропинка у рельс.

Чух – раз, чух – два, высекает молоток.

Петру Гаврилычу мыслилось, что вся та жизнь, которая щедро кипела на его перегоне и на всех других, слишком ошпарила эти пути. Бурлило, надувалось везде – на заводских перегонах, полустанках в лесу, на торфяных узкоколейках и разъездах – лопнуло, присохло и сходит человечьей шелухой до стальных хребтов колеи. Дернут рельсы, переломят хребты. Значит – отжило.

Севернее города рубят лес, стелют горячий асфальт по вздыбленной, мягкой земле, как дерьмо размазывают – прости господи! – строят новую дорогу на Казань. Значит, там – будут жить, и ро-

жать, и горох свой сыпать. А тут – все. Узкоколейная, маловагонная Рассея – зарастай мхом, бей у разъезда зайцев на тушенку.

Старик курил и слушал стуки-счет колесных пар. Вдруг он повернулся к монтерам, дернул за жилетку усатого:

– А мост тоже разберут?
– А вот ни хрена. – Усатый весело разинул рот. – Нельзя переправу. По военным документам не дадут снести. Там вообще, про мосты то ли Москва, то ли губер решают, хер их пойми. Не будут трогать.

Петр Гаврилыч заморгал, опустил голову.

Мостовая ферма – оранжевая, облупленная и маленькая, в один пролет, – нечаянно возникла в деревьях и пронесла дрезину над ручьем. Железо гулко ударило, лес вытряхнул на воду листопад. Салют последней дрезине.

– Ты не кисни, движенец. Это еще поглядеть нужно: сегодня – ломаем, завтра – строим.

Линия выбралась из чащи на закадычный километр перед разъездом.

Чух – медленно, чух-чух.

Показалась сбоку груда синего шлака, которым укрепляли насыпь, дуб у грибной поляны – брехали, что грибы около путей вредные, но Петр Гаврилыч стал собирать их, когда отменили движение, жарил с картошкой, и ничего – пикетный столбик торчал как часовой, тропинка придавила траву.

Лес отодвинулся от полотна, освобождая простор перед разъездом. Справа начался обгонный путь. Станционный домик издалека казался теперь совсем крестьянским и низким, с теплицами, сеном и навозной прелью от черных грядок.

Чух – колеса, толчок – скрежет. Дрезина встала у платформы. Старик пожал руки монтерам, машинист хлопнул его по плечу:

– Сердце не кипяти, поживем, движенец.

Гаврилыч глупенько кивал головой.

Дрезина тронулась, и машинист наотмашь дал гудок. Короткий, короткий – протяжный. Дизельная гарь висла над путями.

У платформы ждала Люба. В белом платке в красный горох. Плакала и не знала, куда деть руки.

– Чего ты? Чего? Ну, подумаешь, разберут железку… – Петр Гаврилыч обнял жену, прижался в платок. – Давай еще рыдать!

Она собирала воздух на слова, легонько била Петра Гаврилыча маленьким кулачком по спине.

– Юрка приехал. Юрка. Живой.